

18+

GRA4MAN

**МОЯ
ВТОРАЯ
ЖИЗНЬ**

gra4man

Моя вторая жизнь

«Издательские решения»

gra4man

Моя вторая жизнь / gra4man — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-743780-0

Что если бы у людей, как у кошек, было девять жизней? Какую бы жизнь выбрали вы после первой — пятую, восьмую или сразу девятую, последнюю? Вторая жизнь героя оказывается совсем не такой, какой её представлял. Но в ней, как и в любой жизни, есть место комедии, драме, лжи, абсурду и даже смерти.

ISBN 978-5-44-743780-0

© gra4man
© Издательские решения

Содержание

День первый	6
День тридцать второй	10
День тридцать третий	14
День тридцать четвёртый	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Моя вторая жизнь

gra4man

© gra4man, 2024

ISBN 978-5-4474-3780-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

День первый

Жила-была кошка, и было у неё девять жизней. А чем я хуже той кошки? Тем, что пол у меня другой, задница не обременена хвостом и потолок вечно набекрень? Так это для количества жизней несущественно. По крайней мере, я так думаю. Посему, начну-ка я своё повествование иным манером.

Живу-бываю я, и есть у меня девять жизней. Согласен, ассортимент небольшой, но, всё же, это больше, чем одна жизнь, как у других людей-человеков, что, несомненно, делает меня особенным. Но вся моя особенность станет былью лишь тогда, когда закончится моя первая жизнь и начнётся одна из следующих. Какую бы мне жизнь выбрать? Сразу девятую? Или седьмую? Или третью? Для меня нечётные цифры почему-то имеют большую притягательность, чем чётные. Они более ершистые, более самостоятельные, более непредсказуемые. И более затасканные. Попроси любого человека называть любую цифру от нуля до девяти, и процентов восемьдесят из опрашиваемых назовёт нечётную цифру. Не веришь? Просто пройди по офису с листочком и ручкой. Или прокатись с листочком и ручкой на карусели. Пробеги по подъезду. Постой у обувной мастерской. Посиди в метро. И записывай, записывай, записывай, ответы всех тех, кого ты вырвешь на полсекунды из суматохи или мутного болота их единственной жизни. Тогда ты увидишь, что абсолютно большинство из твоих респондентов выберет нечет. Но я не хочу быть большинством. По крайней мере, в таких вопросах, как моя вторая жизнь. О! Вот оно и свершилось. Я сам сделал за себя свой выбор. Вторая, так вторая. Будем считать, что первая жизнь умерла. Да здравствует жизнь номер два!

Первым делом выхожу из метро. Иду по улице. Снег, ветер в лицо. Впереди две миниатюрные девушки нашего времени: обтягивающие джинсы, сапоги на ногах-спичках, сумки на полусогнутых руках, тёмные куртки, крашенные волосы до плеч, две сигареты и один разговор на двоих. Вернее, крик души. Одна из прекрасных барышень, бытописуя свои будни, козыряет перед другой всеми матерными словами, которые она знает. Быстро выясняется, что матерный язык она знает на уровне английского, поэтому хрупкой горожанке приходится постоянно повторяться, растиражировав пару нецензурных выражений на весь свой текст. Но её подружку это не смущает. Она энергично поддакивает товарке, используя всё тот же небогатый словарный запас, не забывая курить по ходу движения. Порывы ветра упорно доносят до моей головы сигаретный дым, отзвуки какого-то другого неприятного запаха и жалкие остатки великого и могучего. Моей голове это не нравится, и я легко обгоняю девчонок, лавируя в разнонаправленных, но таких одинаково хмурых людских потоках. Услышав очередной девичий мат, поворачиваю голову, чтобы увидеть тот неумелый милый ротик, который дал ему жизнь. Меня накрывает волна мерзкого запаха, и я вижу, как изо рта моей случайной попутчицы вместо слов льётся вонючая склизкая гниль. Я ускоряю шаг. Чужой гнили мне не надо: мне бы со своей расхлебаться. Но я не могу удержаться и ещё раз оборачиваюсь на таких типичных подружек двадцать первого века, чтобы пронести этот гнилой образ через всю свою вторую жизнь в качестве назидания самому себе.

– Чего уставился? Иди к чёрту!

Прозрачные, еле различимые следы стыдливости, заставили подружку подружки ответить на бесцеремонный взгляд незнакомого человека хотя и грубо, но без мата, что меня несколько не удивило. Я поспешил исполнить просьбу объекта моих наблюдений. Да, да! Это была просьба, ибо за грубостью формы скрывалась крайняя неуверенность содержания. Если бы барышня знала, что временами я бываю удивительно послушным, она, скорее всего, понадеялась бы на то, что сейчас настало именно такое время, и непременно послала бы меня не «к», а «на». Но барышня не могла знать, что в основном моя покладистость просыпается лишь тогда, когда мои желания совпадают с желаниями других людей, и что это как раз тот

самый случай, поэтому она не потребовала, а всего лишь попросила меня обратиться к чёрту. К чёрту, так к чёрту. Я киваю случайным подружкам и отправляюсь в гости к нечистой. Для этого мне нужно всего лишь на всего нырнуть в подземный переход.

Ныряю. Переход широкий, длинный и с потугами на творчество. Очередные весёлые ребята с гитарами терзают покойников в надежде, что то, что от них осталось благодаря стараниям постоянно фальшивящих собратьев по переходам, даст самодеятельным певцам по паре бутылок пива на брата. Не имею привычки служить костылём для чьих-то еле ковыляющих надежд, поэтому бодро прохожу мимо протянутой шапки и натянутой похмельной улыбки.

– Мне не до вас, ребята, – вместо денег бросаю на ходу попрошайкам с раздолбанной гитарой, – я тороплюсь, мне к чёрту надо.

Чёрт не бог, к нему можно и опоздать. А опоздаешь – пропустишь что-нибудь интересное, что не входит в мои планы. Я иду по переходу быстро, поэтому преодолеваю его меньше чем за считанные минуты. Только поднявшись по ступенькам на улицу, понимаю, что за то время, которое я провёл в подземелье, мир изменился. Люди всё такие же напряжённые, издёрганные и уставшие. От самих себя. От себе подобных. И от изнуряющей жары, испытывающей город на прочность уже шестые сутки. Вот такой мне достался чёрт. За пару сотен шагов я отмахал как минимум месяцев пять. Люди плятятся на меня, как на пришельца с другой планеты. Я стою посреди знойного города в наглухо застёгнутой куртке с меховым капюшоном на голове. Под моими тяжёлыми ботинками плавится асфальт. Пора прекратить это безобразие. Я освобождаюсь от куртки и ботинок, подворачиваю джинсы и размышляю о том, куда мне двинуть. Мой сегодняшний чёрт отошёл от традиций русских сказок и не позаботился о камне с ценными указаниями. Вот проказник, из-за него придётся выбирать летнее направление наугад. Тащить с собой зимние вещи, которые вмиг стали мне не нужны, я не хочу. Я всегда так поступаю. И не только с вещами. В этой, второй жизни, мне хватает смелости бросать то, что нужно бросить, и я больше не таскаю весь душевный и недушевный хлам на своём горбу. Я оставляю его там, где ему место. На сей раз это место у подземного перехода. Может быть, он пригодится тому, кто решит уйти из лета в зиму. Может быть, это буду я сам. Может быть, кто-то другой. Может быть, кто-то, кем я стану, когда вернусь к этому переходу. Но сейчас мне не нужны зимняя куртка и ботинки с драконьей мордой. Я без сожаления предаю их асфальту и держу свой путь куда глаза глядят.

Бреду по раскалённым венам большого города и думаю, что для моих ног было бы лучше: свариться (останься я в ботинках) или поджариться (продолжи я свои приключения босиком)? И понимаю, что нет у меня никакого желания играть со злом в его любимые игры – выбирать меньшее. Пусть этим занимается кто-то другой, а я заворачиваю в первую попавшуюся обувную лавку, где меня ждёт сюрприз. Оказывается, летом зимние деньги к оплате не принимают.

– А к чему вы их принимаете? – спрашиваю я у продавца.

– Ни к чему, нам эти деньги без надобности, – отвечает мне кассир, потому что ему и скучно, и грустно, и не кому денег подать. А вот продавцу не скучно. Он, поняв, что никаких комиссионных с моей зимней валюты он не поймёт, убежал окучивать следующую потенциальную курицу, которая несёт летние яйца.

– Для туалетной бумаги они жестковаты, костёр в магазине нам разводить пожарные запрещают, для автографа твои бумажки тоже не пригодятся, не заходят к нам селебритис, – размышлял о способах применения денег кассир. Видимо, покупателей в этой лавчонке немного, совсем, бедняга одичал на боевом посту.

– А давно летние деньги перестали принимать? – интересуюсь я.

– Да как на летнее время перешли, так и перестали. Ты чего, из комы только что вышел? – с денег фантазия кассира переключается на меня.

– Да, – не стал я разочаровывать обделённого событиями бедолагу, – буквально пару минут назад. И сразу к вам, за сандалиями.

– Да, не повезло тебе, парень, – неожиданно говорит кассир.

Выйти из комы, по-моему, везение если и не большое, то вполне увесистое, которое легко перевесит невезение пребывания там. Но, кассир, видимо, чихнул на меня и заразил своей логикой.

– Не повезло, – соглашаюсь с ним я. А как тут не согласиться? Летних денег у меня нет ни копейки. Или что нынче в летнем ходу? Про ход я узнать ничего не успеваю, так как моего кассира отвлекает продавец, на аркане притащивший к кассе покупательницу, которой он так умело запудрил мозги своими нелепыми, но очень жаркими комплиментами, что ей ничего не остаётся делать, как поделиться с продавцом ответным теплом, то есть летними деньгами. Чтобы я не мешал опустошать заветный кошель, продавец молча оттирает меня от кассы. Он, конечно, молчит только в мою сторону, а в сторону покупательницы он извергает тонны слов, которые она готова обменять на деньги. Товар (лесть и прочее фуфло) – деньги (деньги) – товар (обутки и прочее фуфло). Вечная формула успеха. Но босому человеку она не указ, и я выхожу из этого обувного притона.

Свет режет глаза, асфальт режет ноги, звук пронсящегося где-то над моей головой поезда режет слух. Весь изрезанный, истекая собой, я быстро передвигаюсь то на пятках, то на носках, озираясь в поисках спасительной прохлады и тишины. Бесплатных оазисов на моём горизонте не оказывается, и мне приходится довольствоваться скамейкой, которая хотя и стоит не в тени, но зато находится далеко от жэдэ моста и грохочущих по нему сороконожек-сороковагонок. Я лежу на скамейке не более пяти минут, а меня уже накрывает сонливое состояние, которому я не в силах, то есть, не в желаниях, противостоять. Последнее, что я вспоминаю, окунаясь в прохладу сна, это то, что воспитательница в детском саду говорила, что на солнце спать вредно. Но, во-первых, я сплю не на солнце, а на скамейке, а во-вторых, я же уже не в детском саду и могу забыть на слова воспитательницы, не опасаясь неприятных последствий. И я с удовольствием забиваю.

Просыпаюсь от того, что кто-то с удовольствием забивает меня. Я, как вий, силюсь открыть глаза, но никто не торопится поднимать мне веки. Мне упорно пинают по почкам, но глаза от этого открываться почему-то не хотят. Трясу головой в надежде, что глаза откроются сами. Вместо этого открываются мои уши, и я слышу:

– У него нет ни одного долбанного рубля!

– Конечно, нет! Его кто-то отоварил до нас.

– По-твоему, мне должно от этого легче стать?

– А по-твоему, тебе станет легче от того, что ты сядешь?

Я мысленно благодарю этого умника, который силой слова раскрыл над моими почками зонт и укрыл от града пинков своего собеседника, не выдержавшего встречи с пока ещё виртуальной решёткой. Она настолько увлекла его небогатое воображение, что он совершенно забыл о своей жертве, что мне на руку (или на почку, или даже на обе).

– Чего это я вдруг сяду?

– Того это. Если продолжишь его пинать, запинаешь до смерти. Уж я-то свои ботинки знаю, – усмехнулся человек с зонтиком.

– И чего? – всё ещё сражаясь с невидимой решёткой спросил обладатель чужих ботинок.

– Того. Десять лет тебе дадут за убийство.

– За какое это убийство?

– За такое это убийство. Или ты ещё кого-то успел замочить, пока меня не было?

– Никого я не мочил, ты же меня знаешь!

– Знаю. Потому и спрашиваю.

– Не понял?

– Неважно. Потопали отсюда, пока эта падаль не сдохла и на нас её не записали.

Я получаю прощальный пинок в висок и отключаюсь, не успев подумать о том, включусь ли я ещё когда-нибудь во второй жизни, или бесславно отправлюсь прямиком в третью. Какое-то время я упорно валяюсь без сознания, а потом...

День тридцать второй

Я прихожу в себя от того, что кто-то хлещет меня по щекам. На сей раз глаза открываются быстро, и я вижу перед собой мужика в чёрной шапке и в чёрном халате с чёрной биркой, на которой что-то написано мелкими белыми буквами. Если бы не цвет одежды, он вполне мог бы сойти за врача. Вижу его белоснежную, ободряющую улыбку и обвожу глазами окружающее пространство. Оно чёрного цвета. Всё. «Неужели, преисподние всё же существуют», – думаю я и сглатываю слюну, готовясь задать свой первый вопрос. Но мужик меня опережает:

– Как самочувствие?

– Пока не знаю, – отвечаю.

– Люблю честных пациентов, – улыбается мужик, – пошевелите правой рукой.

С трудом, но послушно шевелю. Рука шевелится, а я пытаюсь разглядеть надпись на чёрной бирке моего визави, но изображение лишено чёткости. Может быть, сказывается сотрясение мозга?

– А теперь поиграйте пальчиками, – требует чернохалатник.

Пальчиков у меня нет, поэтому приходится играть пальцами. Думаю, что справляюсь неплохо, хотя моментами проскальзывает ощущение, что пальцы играют сами по себе, независимо от моего желания. Это ощущение отвлекает меня и от бирки, и от её обладателя, но он не даёт отвлечься.

– Прекрасно! – восклицает мужик, – рука и пальцы хорошо прижились, поздравляю!

– В каком смысле? – в голове стоит такой же туман, что и в глазах, поэтому соображаю я примерно так же как вижу, то есть плохо.

– В прямом, голубчик, в прямом, – вторит сам себе мужик, – у вас была полностью отморожена правая рука, и нам пришлось её отрезать.

– А левая?

– Левая пострадала гораздо меньше, ведь Вы лежали на ней и согревали её своим телом. Поэтому с Вашей левой рукой нам возиться почти не пришлось. А вот с правой были проблемы, но мы их полностью разрешили. Конечно, Вам повезло, что в нашем распоряжении оказалось сразу два подходящих материала. Такое бывает не часто, так что Вы, в определённом смысле, везунчик.

– Почему? – в голове было всё также туманно и нужные вопросы не находились.

– Потому что нам удалось пришить Вам чужую руку и чужие пальцы и, как видите, они прекрасно прижились.

– А нельзя было мне пришить только чужую руку?

– Вы предпочитаете иметь правую руку без пальцев? – удивляется доктор.

– Нет, руку я хочу с пальцами, только не понимаю, зачем к чужой руке нужно было пришивать пальцы, чтобы потом её пришить ко мне? Она что, была без пальцев?

– Вы на удивление хорошо соображаете, – доктор радуется как ребёнок, – это надо отметить в истории болезни.

Он вынимает из кармана диктофон и что-то говорит в него на латыни. А может быть, на каком-то другом языке, которого я тоже не знаю. Заметив выражение моего лица, доктор улыбается:

– Не обижайтесь, голубчик. Я не хотел Вас обидеть, я просто не до конца выразил свою мысль. Вы удивительно хорошо соображаете для Вашего нынешнего состояния, вот что я имел в виду.

– Из-за чего я должен плохо соображать, доктор?

– По правде сказать, я не знаю, как именно Вы должны соображать, – в голосе доктора появляется некая торжественная нотка, – Ваш донор, конечно, не был идиотом, но такая опе-

рация была проведена мной впервые и я не знаю, насколько быстро Ваши новые части тела найдут общий язык между собой. Но я уверен, что всё будет в порядке.

Меньше всего мне сейчас хочется думать о порядке.

– Что значит «новые части тела»? – спрашиваю я не своим голосом.

– Мы пересадили Вам новые пальцы и новую руку, – говорит доктор.

– Это я уже знаю, – говорю я. Несмотря на туман в голове, я всё же понимаю, что ни рукой, ни пальцами я раньше не думал.

– А также новую почку, и я должен сказать, что это было самой простой частью нашей операции. Если попадается подходящий донор, с пересадкой почки никогда не бывает никаких проблем. А Ваш донор идеально Вам подходил, так что теперь у Вас есть новая почка, которая прекрасно работает и прослужит Вам долгие годы.

– Я не почками думаю, доктор. Ни левой, ни правой.

– Вы, безусловно, правы, голубчик. Кроме почки мы пересадили Вам новую голову.

– Что?! – мой голос снова мне кажется не моим.

– Новую голову, голубчик, – отвечает милый доктор и ещё раз повторяет, – Мы пересадили Вам новую голову.

Моя новая голова отказывается верить в то, что она слышит.

– Это же бред, – говорю я.

– Это не бред, голубчик, это нобелевская премия в области медицины.

У меня новая голова, а он думает о какой-то премии!

– Чья у меня теперь голова? – спрашиваю я, понимая, что это глупый вопрос. Ведь того, о чём говорит мой чёрный доктор, не может быть. Или может?

– Голова, безусловно, Ваша, – серьёзно отвечает доктор.

Значит, всё же не может. «Оно и к лучшему, – думаю я, – моя голова мне определённо нравится и у меня нет никакого желания менять её на другую.

– Теперь Ваша, – продолжает доктор, – после того, как операция закончилась, все новые органы стали целиком и полностью Вашими. Конечно, в научном мире до сих пор продолжаются дискуссии по поводу такой части тела, как голова, но какой бы теоретической точки зрения мы сейчас не придерживались, результат будет один.

– Какой? – моя новая голова, по всей видимости, всё же не очень хорошо соотносится.

– Единое тело, разумеется, – улыбается чёрный мужик, – поэтому кому бы ни принадлежали его части в прошлом, в настоящем дело обстоит так, что все эти части суть единое целое и это целое – Вы, поэтому все части тела Ваши, чьими бы они не были в недалёком прошлом.

Было бы отлично, если бы этот мужик так же хорошо жонглировал частями тела, как словами. Нужно это проверить. Новой почкой я подвигать не мог, новой рукой и новыми пальцами уже подвигал, пришла пора поиграть новой головой. Думать о том, что она не моя, не хочется, посему интеллектуальные развлечения я оставляю на потом и слегка приподнимаюсь на постели. Доктор бросается мне помогать.

– Правильно, голубчик. Вам нужно понемногу начинать двигаться, а то мышцы без движения могут атрофироваться, и вся наша работа пойдёт насмарку.

«Ну, не лишать же человека нобелевской премии», – думаю я и с помощью эскулапа кое-как сажусь на кровати. Сидеть почему-то не очень удобно, но голова двигается хорошо, как пришитая. «Чёрт с ней, – решаю я, – раз уж мне её пришили, придётся с ней жить». Однако, прежде чем взглянуть на свою новую голову, неплохо было бы всё же узнать её родословную.

– А кому моя голова принадлежала раньше? – абсурднее вопроса я в жизни никому не задавал.

Но доктор, возвратившись на стул, снова смотрит на меня одобряюще-ободряющим взглядом и всем своим видом показывает, что мой вопрос вполне естественен и ни капельки не абсурден.

– Вашему брату.

Хорошо, что я сижу. Но, наверное, было бы лучше, если бы я продолжал лежать, а не шёл на поводу у премии доктора. Мало того, что у меня теперь новые органы, мужик в чёрном халате парой слов легко одаривает меня и новым родственником.

– У меня нет братьев, – я отказываюсь от дарёного коня.

– Теперь действительно нет, – соглашается со мной доктор. Видимо, им читали курс психологии больных людей, который предписывает по возможности соглашаться с тем, что говорят их подопечные.

– Но раньше у Вас был брат-близнец, его голову мы Вам и пришили, – доктор продолжает театр абсурда, как ни в чём ни бывало.

– Вам пришлось меня убить? – спрашиваю я и понимаю, что не понимаю, чьей головой я задал этот вопрос.

Доктор, по всей видимости, всё прекрасно понял.

– Нет, конечно. Вашего брата мы не убивали. Он попал в автокатастрофу, в результате чего потерял все свои конечности, кроме головы. Не выдержав такого удара судьбы и не желая быть растением в человеческом облике, он покончил жизнь самоубийством, предварительно вызвав к себе нотариуса, который заверил его завещание. По этому завещанию Ваш брат пожелал, чтобы остатки его тела после смерти заморозили и использовали в медицинских целях, то есть для пересадки его органов всем нуждающимся. К моменту, когда Вы поступили в нашу клинику, от Вашего брата осталась только голова.

– Очень удачно получилось, – говорю я, слегка двигая тазом. Мне определённо неудобно сидеть на этой кровати, – Вы не находите?

– Безусловно, нам с Вами очень повезло, – отвечает доктор, – это единичный, уникальный случай в медицине, и мы с Вами войдём в историю.

По-моему, я не вошёл в историю, а вляпался в неё, но смысла делиться этим откровением с доктором, занёсшим кулак, чтобы постучаться в дверь нобелевского комитета, нет. Что-то другое царапает моё сознание, и я задаю своему собеседнику следующий вопрос.

– А как он покончил с собой? У него же не было ни рук, ни ног.

– Понимаю Ваше недоверие. Ситуация действительно небанальная, – говорит доктор, – Ваш брат уговорил одну из наших медсестёр, и она из жалости дала ему смертельную дозу транквилизаторов.

– Мой брат лежал в Вашей клинике?

– Удивительное совпадение, не правда ли? – улыбается доктор. – Именно благодаря этому совпадению Вы до сих пор живы.

Доктор явно напрашивается на комплимент, ведь одного этого совпадения не достаточно. Нужно было, чтобы кто-то пришёл мне то, что осталось от моего брата, но у меня нет желания почёсывать его самолюбие. Думаю, он и сам неплохо справляется с этой задачей.

– Что стало с этой медсестрой?

– С Верочкой Пановой? Ничего. Мы не стали поднимать шум и в милиции сказали, что кто-то случайно оставил транквилизаторы у кровати Вашего брата. Они пытались найти того, кто это сделал, чтобы наказать его за халатность, но у них ничего не вышло. У нас очень дружный коллектив. Надеюсь, голубчик, Вы не станете требовать наказания для Верочки? Если бы не её мужественный шаг, Вам бы не поздоровилось.

Мне и так не очень-то здоровится, но до Верочки Пановой мне сейчас дела нет. Как нет дела и до моего брата-близнеца с его удивительной судьбой. И до доктора с его врачевательной улыбкой. Сейчас мне есть дело только до себя. Мне как-то муторно. Зрение никак не наладится. Туман в голове никак не рассеется. А кроме всего прочего я чувствую себя как принцесса на горошине, мне что-то явно мешает сидеть.

– Вам нехорошо? – улавливает доктор моё настроение.

– Да, как-то не очень, – я не вижу причины скрывать своё состояние.

– Вам нужно отдохнуть, голубчик, я Вас заболтал.

Кроме внутренних мерзопакостных ощущений, мне не нравится чёрная окружающая действительность. Все эти чёрные стены, чёрный пол, чёрный потолок, чёрная мебель, чёрное постельное белье и наша с доктором чёрная одежда наводят на меня тоску.

– Почему здесь всё чёрное? – спрашиваю я у доктора, который помогает мне улечься.

Доктор опять улыбается.

– Это новый метод терапии. Он применяется в лучших зарубежных клиниках уже несколько лет, но мы приняли его на вооружение совсем недавно. Тем не менее, он даёт потрясающие результаты. Больным настолько не нравится эта давящая чернота, что они поневоле мобилизуют все силы своего организма, чтобы поскорее отсюда сбежать. Вам это тоже поможет, вот увидите. А пока расслабьтесь и постарайтесь уснуть.

Стараться, чтобы заснуть, мне особенно не приходится, глаза закрываются сами собой, но я ещё успеваю спросить:

– Сколько времени я здесь?

– Вы здесь ровно тридцать один день, голубчик. А теперь спите, я позже к Вам ещё загляну.

И я послушно засыпаю, даже не подумав о том, что тридцать один день из своей второй жизни я потерял.

День тридцать третий

Я сплю в чёрной комнате на чёрной кровати в чёрной пижаме, и снится мне чёрный сон. Досмотреть и запомнить его я не успеваю, потому что меня будит мой добрый доктор в чёрном прикиде.

– Голубчик, просыпайтесь, Вам пора на обследование.

– Я хочу есть.

– Понимаю, но сначала нужно провести обследование. Обещаю Вам, оно будет не долгим, а после него Вы позавтракаете.

Такая перспектива меня не вдохновляет.

– Я хочу жрать, доктор.

– Я понимаю разницу между «есть» и «жрать», голубчик, но все анализы нужно сделать на голодный желудок. Могу Вас утешить, я тоже ещё не завтракал.

Смешной человек. Кому сейчас есть дело до других людей? Чужие горести не могут увеличить моё горе, уменьшить мою радость, облегчить страдание или кошелёк. Когда я очень голоден, я слышу только один голос – это голос моего желудка, требующий жратвы. Я спешу разочаровать доктора. Не комментируя его голод, сконцентрировав внимание на своём, говорю:

– Сейчас меня может утешить только большой кусок мяса.

– Чем быстрее Вы переместитесь со своей кровати на эту каталку, тем быстрее Вы получите свой завтрак.

– Значит, это будет не мясо, – понимаю я и делаю попытку переместиться, как того хочет доктор и мой желудок.

– Да, на завтрак мясо вредно, – мягко говорит доктор и, видя, что моя попытка переместиться с кровати с ножками на кровать с ножками и колёсами безуспешна, достает из кармана свисток и оглушительно свистит.

Под такой свист я точно перемещаться не буду, несмотря на все протесты моего желудка. Зато под этот свист в комнату передвигаются два дюжих молодца, оба, разумеется, в чёрном. Они молча складывают меня на каталку и так же молча покидают мою палату. Доктор вчера не врал – коллектив у них действительно дружный. И немногословный. Не удивительно, что милиции не удалось узнать правду о смерти моего брата.

Меня везут на чёрной каталке по чёрным коридорам, а я думаю о том, что наличие в моём недавнем прошлом брата-близнеца, меня не удивляет и не вызывает ни вопросов, ни чувства протеста, которое так для меня характерно (термин, заимствованный мною из нескольких характеристик, выданных мне несколькими учебными и не учебными заведениями по месту требования; где то место, я до сих пор не знаю, как впрочем, и где теперь все эти характеристики). Не в том ли проблема, что у меня теперь его голова, которую этим фактом ни удивить, ни раззадорить?

Каталка вместе с доктором и со мной делает резкий поворот, и моя правая рука вцепляется в перила, страхуя меня и себя от падения. Между тем моей левой руке, по всей видимости, наплевать, навернусь ли я с каталки или нет, потому что она остаётся спокойно лежать там, где лежала всю дорогу, рядом с левым бедром. В мою новую голову приходит мысль что, возможно, дело в том, что моя новая правая рука не моя, поэтому она действует сама по себе, повинаясь импульсам своего прежнего хозяина. Даже двух хозяев. Ведь пальцы-то не её. То есть, не моей руки, которая тоже не моя. Устав от размышлений о нестандартном поведении моих новых частей тела, которые с одной стороны мои, а с другой вроде и не мои, я возношу хвалу моей новой почке, которая, хвала не знаю кому, ведёт себя прилично, не привлекая к себе моего внимания.

Тем временем мы добираемся до процедурного кабинета, где я получаю ещё одно подтверждение тому, что с моей правой рукой и с моими правыми ручными пальцами дело нечисто. Они ведут себя так, как будто я отправил их на каникулы в деревню к глухой и слепой бабке, где они предоставлены сами себе. А в деревне моя правая рука, как оказалось, любит шупать девок за задницы. В кабинете ей попалась только одна девка, она же медсестра, в наглухо застёгнутом мешкообразном чёрном халате. Ни тебе разреза снизу, ни декольте сверху, ни распущенных по обворожительным плечам волос. Я вообще не знаю, есть ли у неё волосы, потому что вся та поверхность, которую они могут занимать, задраена непонятной формы шапкой вполне понятного чёрного цвета. Я даже не знаю, есть ли у неё уши, ибо они или их отсутствие сокрыты от меня всё той же шапкой. Не уверен также, есть ли у неё нос и есть ли ей чем дышать, кроме рта. Всё её лицо, кроме глаз, закрыто повязкой, естественно, чёрного цвета. Вот интересно, если эта славная медсестра себя увидит во сне, она сильно испугается или просто вскрикнет от неожиданности? То, что это медсестра, а не медбрат, я понимаю только, когда доктор называет её милочкой. Каким бы дружным у них ни был коллектив, вряд ли доктор будет обращаться к медбрата, используя слово «милочка». Не успеваю я додумать эту мысль, как моя правая рука охватывает прелестную попку милой сестрички. А какой она ещё может быть, если я ни одной женской задницы не видел уже больше месяца? А моя правая рука, по всей видимости, и того больше, вишь как оголодала. Но, то ли от голода, то ли от того, что глазомер моей новой головы далёк от совершенства, а скорее всего от того, что мне ещё не приходилось иметь дело с чёрными балахонами до пят и без подсказок в виде выпуклостей я плохо ориентируюсь, где у балахона может быть задница, моя правая рука промахивается. Тут я понимаю, что у медсестры есть рот и что это действительно медсестра, а не медбрат, потому что она истошно орёт. От неожиданности доктор роняет причиндалы, которыми он орудует для снятия показаний. Я мужественно не ору, несмотря на лёгкие порезы.

– Что же Вы так кричите милочка? – спрашивает ошарашенный доктор.

– Он меня лапает! – с негодованием говорит чёрный балахон, замаскировавшийся под медсестру.

– Это не я, доктор, – искренне говорю я, – а моя правая рука. Та, что Вы мне сами пришили. Я не могу отвечать за её действия.

– Она двигалась произвольно? – с живейшим интересом спрашивает меня доктор, не обращая никакого внимания на возмущённую медсестру.

– Совершенно произвольно, доктор, – подтверждаю я, снимая с себя всякую ответственность.

– Это поразительно! – умиляется доктор, – я изучаю этот феномен уже давно и в каждом случае нахожу подтверждение своей теории о том, что остаточные рефлекторные импульсы сохраняются в ампутированных конечностях довольно длительное время, от одного до двух месяцев. Из этого правила я не знаю ни одного исключения! – восторгу доктора нет предела.

– Это поразительно, – бубнит сквозь повязку медсестра, – мужчины всегда найдут оправдание для своего скотского поведения.

«Подумаешь, за ляжку пощупали», – думаю я и понимаю, что если рука и не моя, то всё же родная, и преисполняюсь благодарности закамуфлированной под чёрный бессердечный мешок медсестре-недотроге. Благодаря её псевдонравственности я принял чужую руку как свою собственную. Никакие слова восхищения статистикой поведения пришитых конечностей, произносимые доктором, не сделали бы мою руку и мои пальцы мне ближе так, как сделал этот крик яростного негодования по столь пустячному поводу.

Чёрные медики продолжают своё чёрное дело в чёрной процедурной. Только инструменты радуют глаз своим естественным металлическим блеском. Как они не догадались перекрасить и их, я не понимаю. Как не понимаю и того, что мне мешает лежать на чёрной каталке, пока меня в меня тычут иголками и измеряют всё, что человечество научилось измерять в чело-

веческих телах за всю историю своего существования. Чтобы отвлечься от процедур, я думаю о своём брате. Именно эта тема меня занимает сейчас больше всего.

Раньше у меня никогда не было брата. Не было и мыслей о том, хорошо это или плохо иметь брата-близнеца. Нет человека, нет проблемы, то есть мыслей о нём. Так я думал до сегодняшнего дня. А теперь вот у меня снова нет брата, а мысли о нём есть. Благодаря Генриху Карловичу. Оказалось, что моего голубчика-доктора зовут именно так, по крайней мере мысленно отблагодарённая мною медсестра. Как интересно, звали моего брата? Какую колбасу он любил? Как звали его собаку, если она, конечно, у него была? А может, у него была не собака, а жена? И у них были, в смысле есть, дети? То есть, мои племянники. Эта мысль мне определённо не понравилась. Я легко смирился с мёртвым братом, но с новыми, живыми кровными родственниками мне мириться не хотелось. Это тебе не новая почка, которая плавает где-то внутри тебя и помалкивает. И не новая рука с новыми пальцами, которые периодически напоминают, что когда-то не были твоими. И даже не новая голова. «Это живые люди, которых тебе, конечно, не пришьют, – подумал я и мысленно сплюнул через левое плечо, вспомнив искорки в глазах доктора при разговоре о нобелевской премии, – но которые могут легко втянуть тебя в совершенно не нужные тебе отношения». При мысли о возможных отношениях с новыми родственниками меня передёргивает.

– Ну, что Вы, голубчик, это же совсем не больно, – успокаивает меня Генрих Карлович, думая, что мой взбрык вызван очередной иглой, которую он воткнул мне в череп, и не подозревая о том, что я только что чуть не стал дядей.

– Вы доктор, сами не знаете, что говорите, – отвечаю ему я, не пускаясь в объяснения, чтобы не сделать гипотетических родственников более осязаемыми. «Нет мыслей, нет проблемы, то есть человека (он же племянник/ца)», – думаю я и переключаюсь на Генриха Карловича, который заканчивает забор данных и отсоединяет меня ото всех чёрных приборов.

– Вот и молодцом, голубчик. Все Ваши мучения уже позади, Люсьена Милентьевна отвезёт Вас в палату, где Вас ждёт завтрак.

«Видно, дружный коллектив подбирался исключительно по именам-отчествам», – думаю я, пока Люсьена катит меня по чёрным коридорам к моему первому сознательному завтраку за тридцать с лишним дней. Отчество у ей оттяпал за её вредность и нетерпимость к ближнему, который всего лишь тактильно выразил ей своё восхищение, несмотря на её ужасно безвкусную одежду. Люсьена мстит мне с помощью свистка, который на мой слух, звучит ещё более пронзительно, чем у доктора. Она даже не удосуживается сама закатить меня в палату и едва дожидается появления медбратьев, которым перепоручает меня нетерпеливым движением руки.

Два брата молодца, одинаковых с лица, принимают меня под своё крыло, быстро переправляют в палату, перекадывают с носилок на кровать и молча исчезают. Я начинаю думать, что они немые. Но думаю не долго, потому что на чёрном подносе меня ждет чёрная еда. Не спрашивайте меня, как они это сделали, но они это сделали. Моя манная каша, молоко и даже яичный желток оказались чёрными, не говоря уже о чае и хлебе с икрой. На вкус чёрный завтрак совершенно обычный, и я даже немного расстраиваюсь по этому поводу. Быстро насытившись, я откидываюсь на подушку и снова чувствую, как что-то мешает моей заднице умиротворённо наслаждаться послевкусием завтрака. Пора с этим покончить. Я приподнимаю свой таз и шарю рукой по кровати. То, что я нащупываю и извлекаю из-под себя, меня, мягко говоря, удивляет. После того, как я понимаю, что моя находка не просто завалилась на больничной койке, а является частью моего тела, я начинаю думать, что мой мёртвый брат щедро напичкал свою голову галлюциногенами непосредственно перед тем, как уговорить Верочку Панову свершить исторический акт милосердия, который должен вывести Генриха Карловича в нобелевские лауреаты.

То, что я нахожу ни один нормальный человек, даже если его несколько раз перекроют вдоль и поперёк, найти не может. Но я нахожу. Я нахожу у себя хвост. Он торчит из моей

задницы, как будто так и надо. Как будто я с ним родился. Я-то думал, что в этой чёртовой чёрной больнице у меня развился комплекс принцессы на горошине, совершенно неподобающий лицу мужского пола, а всё оказывается гораздо проще. Никаких комплексов: это всего-навсего хвост. Обычный тигриный хвост, длиной сантиметров семьдесят, не больше, правда, необычного цвета – белого. Я думаю, это всё от того, что мне надоел чёрный цвет, окруживший меня со всех сторон. Это мой протест против чёрной реальности, в которую меня занесло. По крайней мере, цвет хвоста определённо является протестным, а вот само наличие хвоста меня озадачивает. Я начинаю строить разные версии того, как я заделался носителем шикарного хвоста белого тигра.

Первое, что мне приходит в голову, это то, что хвост мне пришили. Ради нобелевской премии Генрих Карлович и его сердобольная подружка Верочка пойдут на что угодно, даже на такой звериный эксперимент. Интересно, дают ли премии за пересадку тигриных хвостов? Думаю, вряд ли. Ведь, чтобы пересадить хвост, его где-то нужно взять. А где можно взять тигриный хвост? Правильно, его можно оттяпать у тигра. Или у тигрицы. «Вот чёрт, неужели мне пришили женский хвост», – думаю я и внимательно осматриваю свой новый пушистый орган. Понятия не имею, чем женский хвост отличается от мужского, но прихожу к выводу, что мой хвост абсолютно точно мужской. Это меня немного успокаивает, и я продолжаю размышления. Итак, мой хвост оттяпали у какого-то белого тигра, который, если мне не изменяет память, должен водиться в Индии. Значит, оттяпанный хвост нужно было привезти контрабандой из Индии и доставить в ту клинику, где я сейчас нахожусь. То, что хвост привезли контрабандой, у меня не вызывает никаких сомнений, ибо хотел бы я посмотреть на реакцию таможенника (хоть индийского, хоть нашего), которому бы предъявили белый тигриный хвост с сопроводительными документами примерно следующего содержания: «Настоящая справка дана предъявителю, дабы засвидетельствовать тот факт, что такого-то числа сего года в муниципальном зоопарке города Мумбаи номер пять, была проведена операция по удалению левого хвоста самца тигра по кличке Снежок. Решение об операции было принято расширенным консилиумом ветеринаров „Главной ветеринарной службы г. Мумбаи“ и одобрено мэром города (см. отметку канцелярии мэрии ниже). Ввиду вышеизложенного, предъявителю справки дано право на использование левого хвоста Снежка по его (предъявителя) усмотрению в течение десяти лет (считая с даты выдачи настоящей справки), включая право на вывоз и обратный ввоз хвоста из/на территорию Индии, при условии сохранения внешнего вида хвоста без каких-либо изменений (с учётом естественного износа). По истечении десяти лет, предъявитель обязуется вернуть левый хвост Снежка в администрацию зоопарка номер пять города Мумбаи. Дата, подпись уполномоченного лица органа, выдавшего справку, отметка канцелярии г. Мумбаи, подпись предъявителя и его паспортные данные, приложение.».

Что прикажете делать таможеннику с такой справкой, кроме неоднократного прочтения, копирования и робких звонков начальству? Ах, да, забыл сказать, в приложении содержится фотография левого хвоста самца тигра по имени Снежок. Значит, таможенник ещё может развлечься сравнением предложенного к таможенному оформлению хвоста с его (хвоста) фотографией, не увеличивая, однако естественного износа хвоста. Итак, хвост сравнён со своей фотографией, естественный износ справки существенно возрос в результате неоднократного просмотра компетентными лицами, но делать нечего: хвост приходится пропускать через границу. Так или иначе, с помощью мифического двуххвостого тигра или без оной, хвост оказался в клинике, практически не подвергшись естественному износу, готовый к немедленному использованию по прямому назначению. И Генрих Карлович его использует, пользуясь моей полной бессознанкой. Хорошо это или плохо, я судить не берусь, ибо не знаю, на что способен мой хвост (как в положительном, так и в поганом смысле этого слова).

В палату никто не заходит, поэтому я приступаю к освоению хвоста. Чем думать о том, кто виноват, лучше заняться поиском ответа на вопрос что делать. Для этого нужно думать

не том, как всё случилось, а что с этим всем делать, то есть попытаться извлечь из хвоста максимальную пользу. А какая может быть в хвосте польза? Эх, поболтать бы с белым тигром, расспросить его, что да как. Но, боюсь, в этой клинике тигр если и есть, то чёрный. Поэтому придётся рулить хвостом самому. Тем более что, как говорил мой чёрный лечащий врач Генрих Карлович, чем бы ни были мои части тела до настоящего момента, хоть головой неизвестного мне брата-близнеца, хоть хвостом неизвестного мне белого тигра, теперь они суть я, а значит, я могу делать с собой всё, что угодно.

Я пытаюсь шевелить хвостом. Очень странные ощущения возникают, знаете ли, когда ты пытаешься привести в движение то, чего у тебя раньше никогда не было. Вот если я когда-нибудь стану ангелом и обнаружу за своей спиной крылья, мне будет проще справиться с ними, несмотря на то, что у меня их никогда не было. Ведь за спиной у меня будут не только крылья, но и опыт освоения чуждых мне ранее частей тела. А пока беспомощно кручу задницей, пытаюсь заставить мой новый хвост совершить хотя бы одну фигуру пилотажа. Отдельно от задницы мой хвост, увы, не работает. Это мне не нравится. Я уже готов высказать свои претензии Генриху Карловичу. «Что это за дела, доктор, – скажу я ему, – хвост пришили, а он ни черта не функционирует! Вот если бы он работал как надо, тогда, пожалуйста, я бы ни словечком вас не беспокоил, а так – спарывайте его на фиг!»

Генрих Карлович, по всей видимости, решил не давать мне возможности произнести мою речь, достойную церемонии вручения оскара, потому как время шло, а в палате он не появлялся. Скорее всего, Генрих Карлович сейчас копается в моих анализах или стоит над душой какого-нибудь лаборанта, который не видит ни одного из пациентов снаружи, но каждый день изучает, как они устроены внутри.

Делать мне совершенно нечего: хвост не работает, права рука с правыми пальцами работает сама по себе и во мне не нуждается, голова работать отказывается. «То тридцать с лишним дней от тебя ни слуху, ни духу, – обидчиво заявляет мне моя (бывшая братова) голова, – то думай непрерывно о всякой чепухе». Это она хвост чепухой называет. Как мою голову называет мой же хвост, я не знаю, потому что воображение – это часть головы, а она, как вы уже поняли, объявила забастовку на предмет шевеления извилинами. Нужно её чем-то развлечь.

Радио в палате нет, телевизора тоже. Могли бы поставить хотя бы чёрно-белый ящик, в традициях, так сказать, заведения. В поисках мало-мальского развлечения шарю по палате глазами, которые обрели, наконец, приличную чёткость зрения, и понимаю, что все стены моего то ли прибежища, то ли узилища, оказывается, увешаны картинами. Точнее, плохими копиями одной и той же картины. Не трудно догадаться, что это чёрный квадрат Малевича. Что это за клиника, в которой чёрные стены украшают чёрными квадратами? Это всё, что я успеваю подумать, застав свою голову врасплох. Она быстро выкарабкивается из расплоха и снова отказывается думать. Приходится убаживать её газетами и журналами, которые я нахожу на тумбочке. В основном это профессиональная медицинская литература, пестрящая длинными (трудночитаемыми) словами, короткими (латинскими) словами, аббревиатурами (преимущественно англоязычными), фотографиями (мелкими), графиками (крупными) и прочей околонучной символикой. Что примечательно, даже в журналах нет цветных картинок. Вся медицина в этой клинике выдержана в строгих, чёрных тонах. Самым интересным среди этой макулатуры оказались некрологи в одной из газет. В них были написаны понятные простому смертному слова о том, какими прекрасными специалистами были те, кто нынче примеряет ангельские крылья. А как же иначе? Ведь они были не только прекрасными медиками, но и заботливыми матерями, добрыми отцами, радушными сёстрами, внимательными братьями. Читаю и удивляюсь. Почему бог, который, как говорят, любит немедленно призывать в своё царство лучших из лучших, не забрал их к себе раньше (большинство газетных мертвецов перешагнули семидесятилетний рубеж), если они были такими замечательными людьми? Или они стали таковыми только после смерти и только на страницах специализированных

газет? Пожалуй, так и есть, ведь бог не может ошибаться, даже если его вдруг нет. Моя голова, утомившись от медицинской терминологии, вернулась в стан размышляющих. Кому нужно это враньё в некрологах? Тем, кто умер, всё равно, что о них прочитают там, где их нет. Возможно, я просто не в курсе, и газеты с некрологами доставляются на небеса? Я думаю, что если я проведу ещё дней пять в палате с плохо сделанными квадратами Малевича, то точно это узнаю. А пока неплохо было бы что-нибудь съесть. Часов в палате нет, и я понятия не имею, сколько времени я предавался размышлениям о своём хвосте и о прочих, таких же бесполезных вещах. Но этого времени хватило, чтобы я проголодался.

Я пытаюсь встать с кровати, чтобы отправиться на поиски столовой, но не могу. Резкое движение вызывает к жизни тьму мошек, которые с остервенением пляшут у меня перед глазами. Я отступаю перед этой мельтешащей двукрылой ордой и проваливаюсь то ли в сон, то ли в беспамятство.

Это состояние настолько захватывает меня, что я не слышу, как в палату входит медсестра в чёрном халате. Если бы я не был в ауте, я бы прочитал белые буквы на её бирке, которые гласили, что фамилия её Панова, а зовут её Верочка. Именно так, белым по чёрному, написано на её бирке, но я этого не вижу: я в отключке. Верочка подходит к моей кровати, ставит принесённый поднос с лекарствами на тумбочку поверх некрологов, которые развлекали меня некоторое время назад, и заботливо поправляет одеяло, пристально вглядываясь в моё лицо. Наверное, она видит перед собой человека, которого она так милосердно убила какое-то время назад. Вероятно, это решение далось ей нелегко, но ещё труднее ей смотреть на мою физиономию сейчас. Что она думает, глядя на пациента, которого она отправила к праотцам, будучи уверенной, что никогда больше не увидит его глаз. Глаз, которые молили её об облегчении страдания. Глаз, которые так явно опровергали просьбу об убийстве, неоднократно произнесённую опухшими губами. Глаз, которые верили, что она в состоянии им помочь, и найти иной путь, чем путь к могиле. Что она могла предложить этим глазам? Она, которая не была ни господом богом, ни святой, ни даже врачом? Что она могла сделать, чтобы не видеть эту мольбу, на которую она не могла откликнуться ничем, кроме доброго слова, ибо только это и было в её силах. Ах, да. Я забыл о лошадиной дозе транквилизаторов. Вот выход для человека, который больше не может страдать от собственного сострадания. Что поделаешь, если некоторые медсёстры слишком чувствительны для своей профессии?

Что она могла поделать, если она не могла больше выносить этих взглядов, полностью состоящих из одной отчаянной мольбы. Ведь больше за душой у её пациента ничего не осталось. Только надежда и вера в то, что такая милая сестричка в чёрном халате сможет сотворить чудо, на которое не способны лучшие доктора местной клиники. И она его совершила. Она нашла способ избавить себя от страданий. Она поверила в то, во что не должна была верить, но во что не верить у неё не хватило духа. Она поверила в слова измученного болью человека, который не знал, как выразить словами то, что так ясно показывали его глаза. Словами он говорил одно, глазами – другое. И она поверила словам. Ведь это было куда проще, чем каждый день сталкиваться с тем, что ты не можешь помочь ближнему своему. Она корила себя за слабость, убеждая себя, однако, что это была вовсе не слабость, а самое настоящее мужество. Верочка Панова корила себя за то, что у неё хватило мужества убить человека, взгляды которого она больше не могла выносить. Пусть она будет проклинать себя до конца своих дней, зато она смогла помочь человеку, которому никто, кроме неё, помочь не мог. Пусть ей будет больно от того, что к ней навсегда приклеится ярлык «убийцы», но эта боль не идёт ни в какое сравнение с той болью, которую она испытывала, глядя на страдания моего брата-близнеца. И разве можно её судить за то, что из двух зол она выбрала меньше. Меньшее для себя. Чем было это зло для моего брата можно только гадать. Но я уверен в том, что он не хотел смерти, несмотря ни на что. Даже на то, что его голова мне так пригодилась. А у медсестры Верочки Пановой совсем другое мнение. Она смотрит на меня и видит моего брата-близнеца. Она боится того

момента, когда я открою глаза и снова посмотрю на неё. Она панически боится опять увидеть мою мольбу и понять, что её мужественный поступок оказался напрасным. Она, по сути дела, пожертвовала собой, своим спокойствием, чтобы спасти меня, и она не готова увидеть в моих глазах то, что для меня значила эта жертва. Поэтому Верочка Панова берёт с подноса шприц и со знанием дела колет. Она очень хорошая медсестра.

Я просыпаюсь и вижу перед собой Верочку Панову. Она смотрит на меня добрым взглядом всё понимающей и всё принимающей медсестры. Ни тени любопытства, смущения или вины. До того, как она открывает рот и я слышу её голос, я успеваю заметить, что никакого шприца в её руках нет.

– Как Ваше самочувствие? – спрашивает Верочка.

Её голос полностью соответствует её взгляду – никаких эмоций, кроме явно выраженного участия к пациенту.

– Нормально, – коротко отвечаю я, усаживаясь на кровати.

Человек, который помог мне заполучить новую голову, а моему брату – новый гроб, не кажется мне подходящим для бесед о моём хвосте. Уж лучше я обсужу его с голубчиком Генрихом Карловичем. Верочка не делает даже попытки помочь мне с посадкой. И мне это нравится, нашей семье она уже помогла более, чем достаточно. Теперь она может отдыхать.

– Я принесла Вам обед, – говорит медсестра.

На тумбочке около кровати действительно стоит поднос с едой, среди которой я замечаю мясо. Оно и проснувшееся чуть позже меня чувство голода примиряют меня с Верочкой. Я беру чёрный поднос и устраиваюсь так, чтобы ничто, включая мой хвост, не отвлекало меня от пищи. Но у Верочки другие планы. Она протягивает мне какие-то таблетки.

– До еды Вы должны принять вот это.

– Кому? – спрашиваю я и разворачиваю вилку и нож, кем-то заботливо упрятанные в чёрную салфетку.

– Себе, – не моргнув глазом, отвечает Верочка.

Видимо, она привыкла иметь дело с капризными пациентами и ничто не может её заставить изменить своему долгу.

– Себе я точно ничего не должен, – говорю я и отрезаю солидный кусок мяса, – я сегодня это проверял.

Верочка останавливает меня.

– Не бойтесь, это просто витамины и иммуномодуляторы, их нужно принимать до еды.

– Я не боюсь, – говорю я не совсем правду, – я просто очень хочу есть.

Откуда мне знать, что в этих небольших чёрных пилюлях? Вполне возможно, что сестра Панова решила повторить свой подвиг и предлагает мне то, что не доел мой брат.

– Я Вас понимаю, но если Генрих Карлович прописал Вам эти таблетки, Вы должны их принимать, это для Вашей же пользы.

Верочка продолжает свободной рукой удерживать меня от мяса. Борьба с женщинами мне не доставляет никакого удовольствия, поэтому я решаю наплевать на то, что содержится в чёрных капсулах и опробовать Верочкину заботу на своей шкуре. Я глотаю то ли витамины, то ли иммуномодуляторы, то ли ещё какую гадость, запиваю это водой и кладу, наконец, в рот отрезанный кусок возделенного мяса. Еда доставляет мне удовольствие, но не долго. Верочка, исполнившая свой долг по впахиванию в меня пилюль, не удаляется, а продолжает сидеть у моей кровати, наблюдая за тем, как я справляюсь с обедом.

– Хотите присоединиться? – спрашиваю я её.

– Нет, – качает головой Верочка, – но я хочу убедиться, что процесс приёма пищи идёт нормально.

– Очень мило, – говорю я, – но Ваше внимание не добавляет ему нормальности. Я не люблю, когда за мной наблюдают в процессе приёма пищи.

– Я не наблюдаю, – не соглашается Верочка, – я присутствую.

«Она от меня не отвяжется, сожри я хоть все таблетки на свете», – раздражённо думаю я. Так и будет смотреть за моими процессами, не моргая своими невинными глазами.

– Вы полагаете, я нуждаюсь в Вашем присутствии, чтобы хорошо переваривать пищу? – мой тон не оставляет сомнений в том, что мне очень не нравится, что она на меня пялится.

Верочка, наверное, не знает такого слова как «пялится», используемого исключительно в разговорной речи необразованных слоев населения, к которому Верочка, безусловно, не относится. Поэтому она не понимает или делает вид, что не понимает, что её присутствие меня страшно бесит. А может быть, она и этого слова не знает. Забив свой желудок мясом, я немного отвлёкся от голода, и моё раздражение начало плескаться через край.

– Конечно, нет, – Верочка разговаривает со мной не как с больным, а как с больным ребёнком, – но контроль Вашего состояния является неотъемлемой частью Вашего лечения. Ведь Вы хотите выздороветь как можно скорее?

– Я больше не съем ни крошки, пока Вы не уйдёте, – говорю я, понимая, что обед мой мясом и ограничится.

– Не нужно капризничать, – уверяет меня Верочка, – так Вы сделает хуже только самому себе.

– Зато это буду я сам, – отвечаю я, ни капельки не жалея о том, что поданная к мясу цветная капуста так и останется на тарелке.

– Самоистязание до добра не доводит, – говорит Верочка ничуть не смущённая тем, что лишила меня половины обеда.

– Я в курсе, – говорю я, имея в виду самоистязания моего брата, которые довели его до могилы, а меня до новой головы.

– Тогда к чему это детское упрямство? – спрашивает Верочка.

– Понятия не имею, – говорю я, старательно вытирая рот салфеткой и давая Верочке понять, что она может убираться ко всем чертям.

Но Верочка и про чертей не в курсе: она продолжает сидеть и смотреть на меня.

– Я советую Вам закончить трапезу, – говорит медсестра.

И в каком только медучилище её научили трапезничать? Могла бы просто есть как все нормальные люди.

– Я её уже закончил.

– Вы не доели гарнир и салат, – говорит Верочка.

Возможно, у меня есть проблемы с головой и хвостом, но проблем со зрением у меня нет. Я прекрасно вижу, что я недообедал. И я прекрасно знаю, почему это произошло. Это произошло из-за Верочки, и уступать я ей не намерен, поэтому я просто пожимаю плечами и возвращаю поднос с тарелками на тумбочку.

– Напрасно Вы так демонстративно встаёте в позу, – Верочку таким пустяком не прошибёшь, – раздражение и отказ от полноценного питания только удлинит процесс выздоровления.

Она мне надоела со своими назидательными разговорами, и я предпочитаю их не поддерживать, а сменить своё положение с сидячего на лежачее. Верочка делает ещё одну попытку меня накормить.

– Хорошо, сдаюсь, – говорит Верочка, – я сейчас уйду, а Вы доедите свой обед. Обещаете?

Не собираюсь ей ничего не обещать, даже если я сделаю этим хуже только себе самому. Своя рука и бьёт не так больно, поэтому я молчу.

Верочка не желает принимать мои правила игры в молчанку и уже в дверях говорит:

– Я Вас очень прошу, не поддавайтесь эмоциям и пообедайте.

Я посылаю её подальше. Даже если буду подыхать от голода (чего, конечно, даже в этом лечебном заведении, не будет), я не сделаю Верочке приятное и не доем этот обед. Я не собираюсь сдаваться. Единственное, что меня беспокоит, это то, что в этой чёртовой чёрной палате

совсем нечего делать. Хвост и некрологи развлекли меня, позволив скоротать время до обеда, но чем мне заняться после него?

Минут через сорок я начинаю жалеть о том, что не был вежлив с Верочкой. Она, конечно, изрядная зануда и убийца, но она умеет разговаривать. А кроме того, она думает, что связана долгом помощи местным пациентам. Из этого можно извлечь нечто большее, чем сверхдоза транквилизаторов. Из этого можно извлечь продолжительную беседу, убивающую время не хуже, чем ящик, изобретённый то ли в прошлом, то ли в позапрошлом столетии. Если разобратся, то разговор, пожалуй, более изощрённое средство для убийства времени, чем телевизор. Ведь разговору уже не один десяток тысячелетий, а телевидению пошла всего лишь вторая сотня лет. За время своего существования разговор перестал быть исключительно средством выживания и приобрёл качества, необходимые при противоположном процессе. Телевидение же никогда не было средством продления жизни, а изначально было приспособлено только для сокращения продолжительности её сознательной составляющей. Именно эта узкая функциональность и делает ТВ отстающим звеном в связке с беседой, которая, будучи явлением многофункциональным, в состоянии предложить желающим утолить свою жажду быстрого течения времени больше вариантов для убийства в силу наличия возможности создания перекрёстков разных функций. Никто не будет спорить, что перекрёсток более предпочтителен, потому что он даёт больше вариантов для продвижения. Ты можешь пойти – поехать не только с юга на север, но и с запада на восток. А также с запада на север, или с юга на восток. Как только ты попадаешь на перекрёсток, число вариантов времяпрепровождения значительно увеличивается. Правда, это относится только к тем людям, которые предпочитают двигаться исключительно проторенными дорогами. Нормальному же человеку ничего не мешает свернуть с шоссе и пойти, куда глаза глядят, даже если они глядят буквой «зю», а не на стрелки компаса. Я как раз из этой породы людей, идущих по жизни неправильными зигзагами (а может быть, и правильными – кто эти зигзаги разберёт?).

Моя трудолюбивая фантазия заставляет меня больше любить слова, чем картинки, потому что слова, на мой взгляд, ставят меньше рамок, чем картинки. В них больше свободы, трепета и страсти, если, конечно, у тебя порядок с воображением. Думаю, у Верочки Пановой с воображением порядок, поэтому беседа с ней могла быть весьма увлекательной, но своим присутствием она вынудила меня заставить её удалиться, от чего я, пожалуй, только проиграл. Но проиграл не так крупно, как мой брат-близнец, поэтому у меня ещё остались козыри в колоде и теперь самое время пополнить свою руку, прикупив пару козырных тузов. А на меньшее я не согласен.

Ещё через час я готов был согласиться и на одну козырную шестёрку. Делать было абсолютно нечего. Даже заснуть, чтобы приблизить время ужина, я не мог, хотя старался битых минут двадцать. Я ещё раз перебрал все некрологи, сполз с кровати и размял ноги. Оказалось, что двигаюсь я довольно сносно, но на марафонские дистанции меня выставлять пока рано. Дверь палаты оказалась закрытой. Окошек под чёрными псевдомалевичевскими квадратами не оказалось, поэтому я даже не мог на некоторое время перенестись в существование скучающей в ожидании чужих происшествий пенсионерки. Пенсионеров на лавочках и в окошках я не встречал ни в первой, ни во второй жизни. То ли они менее жадны до бытовых подробностей постороннего существования, чем их сверстницы, то ли просто не дотягивают до лавочек и окошек, то есть попросту до них не доживают. В любом случае, уподобиться пенсионерке в этой клинике мне не дают. Я возвращаюсь на кровать, так и не ощутив прелестей (или тоски) пенсионерской жизни, ложусь на своё ложе так, чтобы хвост не мешал, и в третий раз принимаюсь перелистывать газеты. Это занятие наталкивает меня на мысль придумать некролог и, тем самым, скоротать время до ужина. Но чей некролог мне сочинить? Свою кандидатуру я отмечаю сразу. «Я про себя всё знаю, – думаю я, – несмотря на то, что за последние пару дней я приобрёл не только новые, доселе неизвестные мне почку, руку, пальцы, голову, но и хвост.

А перекладывать на слова то, что я знаю, пусть даже такого не случилось ни с одним другим человеком, мне неинтересно». Мне интересно придумать какую-то совершенно новую историю, создать какую-то новую жизнь, пусть даже мне придётся её оборвать в самый неподходящий для её обладателя момент. Кто же будет тем человеком, который под моим мысленным пером проживёт увлекательную, насыщенную и в чём-то даже счастливую жизнь?

Одновременно обрётённого и потерянного навсегда брата я отвергаю. Как-никак, его головой я собираюсь родить прекраснейший из некрологов, а писать о себе (даже если это только твоя голова) скучно. Верочка отправилась в ту же мусорную корзину, что и мой брат. О ней я и так слишком много думаю в последнее время. Люсьена Милентьевна меня тоже не привлекает. Даже в смысле некролога. Остаётся Генрих Карлович. Думаю, он является идеальным кандидатом. Если его жизнь оборвётся утром, в день объявления его лауреатом нобелевской премии, некролог получится, что надо: в меру трагичный, в меру героический, в меру любопытный. И я принимаюсь за дело, надеясь, что мне удастся закончить его до того, как я вновь увижу Генриха Карловича. Уж очень мне хочется его удивить и порадовать. Где-то посередине некролога мне некстати приходит в голову мысль, что мой голубчик-доктор может и не обрадоваться своему некрологу. В этом случае, пусть пеняет на себя. Что ещё я могу придумать в чёрной палате, лежа на чёрной кровати в чёрной пижаме, после чёрной трапезы (спасибо Верочке за мясо и за слово) кроме некролога? В любом случае, он удивится, решаю я, и продолжаю свой скорбно-развлекательный труд на благо отечественной медицины. Чем дальше я продвигаюсь по жизни Генриха Карловича, тем больше мне нравится это занятие. Я увлекаюсь им так, что продолжаю сочинять даже во сне, который смаривает меня где-то в последней четверти моего творения.

Верочка Панова будит меня к ужину, удаляя из моей памяти не только то, что я сочинил во сне, но и половину того, что я сочинил бодрствуя. Я без разговоров проглатываю пилюли, ужин и Верочкины слова. Мне не терпится вернуться к моему Генриху Карловичу. Верочка понимает моё молчание по своему и пытается разрядить накалённую, по её мнению, обстановку какими-то словами. Где она, спрашивается, была тройку часов назад, когда мне было так одиноко и совершенно нечем заняться? Она занималась своими делами. Теперь, когда ей приспичило позаниматься моими, она не обращает никакого внимания на то, что мне её занятие совершенно без надобности. Верочка думает, что она умеет обращаться с больными. Может быть, оно так и есть (даже несмотря на историю с моим братом). Но я-то не больной. Я временно немного не в адеквате, только и всего. И неадекват-то мой небольшой, всего сантиметров семьдесят, не больше. Белый, с чёрными пятнами, приятный на ощупь. Короче, не самый страшный в мире неадекват, так что нечего меня записывать в больные. Но Верочка вбила себе в голову, что я её пациент и она должна мне помочь, и выбить эту мысль можно, только если позволить ей что-то для меня сделать. Тогда её совесть успокоится, она бросит своё чувство выполненного долга таять чёрной дымкой в моей палате и отбудет восвояси, оставив меня один на один с Генрихом Карловичем из моего, то есть, из его некролога. Я говорю Верочке, что в терапевтических целях мне крайне необходимы бумага и ручка. То, что терапией для меня нынче является сочинение некролога я, на всякий случай, умалчиваю. А Верочка и не думает меня пытаться. По крайней мере, не в этот раз. Она быстро покидает палату, отложив на время контроль моего пищеварения. Не успеваю я добраться до компота, как Верочка возвращается и кладёт на тумбочку тетрадь, карандаш и стирательную резинку.

– Почему не ручка? – спрашиваю я, доедая макароны по-флотски.

– Лишней ручки на посту не нашлось, – врёт мне в глаза Верочка.

– Ладно, спасибо за карандаш, – принимаю я её враньё и остатки макарон, – когда доктор ко мне зайдёт?

Генрих Карлович мне нужен, конечно, не для того, чтобы уточнить детали его некролога, а для того, чтобы разобраться с моим хвостом.

– Завтра утром, – коротко отвечает Верочка, – может быть, я могу Вам чем-то помочь?
– Вы уже помогли, – говорю я и киваю на принесённые ею принадлежности для некролога.

– Больше Вам ничего не нужно? – спрашивает Верочка.

– Нужно, но это не по Вашей части, – довольно вежливо отвечаю я.

На этом наш разговор обрывается. Я добиваю ужин, допивая компот, Верочка желает мне спокойной ночи и удаляется с тем, что осталось от моего ужина. Я довольно бодро сползаю с кровати и посещаю санитарный блок. Так на больничном плане эвакуации при пожаре обозначены туалет и ванная. Санитарный блок, разумеется, тоже чёрный. Удивительно, что вода в этой чёрной больничке обычного цвета, то есть прозрачная. Видимо, всё же у местного главврача сохранились остатки здравого смысла. Очень хочется встать под душ, но я не знаю, можно ли мочить мой хвост. Я решаю, что самое страшное, что может с ним случиться, это то, что он отвалится, что мне только на руку, точнее на задницу, которая освободится от несвойственного ей придатка. Поэтому я подставляю свои новые части тела (за исключением почки, которую я не стал выковыривать из себя ради этого момента) под душ, и они благодарно отзываются на струящуюся по ним воду. Хвост действительно намокает, но не отваливается даже после десяти душевых минут. Неужели моё тело прожило без воды больше месяца? Или они всё же время от времени обмывали меня (и я не имею ввиду алкогольные возлияния)? Скорее да, чем нет. Не позволят же они доказательству научных заслуг Генриха Карловича гнить заживо. И что-то мне подсказывает, что обмыванием занимался не голубчик-доктор, а его ближайшая приспешница Верочка Панова. Или Люсьена Милентьевна. Я пока ещё не разобрался, кто из них ближе к будущему светилу мировой медицины. Продолжаю рассуждать дальше. Поскольку Люсьена Милентьевна ассистировала голубчику в процедурном кабинете, а мои скромные покои не удостоила даже взглядом, думаю, что меня обмывала убийца моего брата. Вода в кране моментально становится ниже на минимум на полтора десятка градусов. Я до отказа поворачиваю кран с красной пимпочкой, но температура воды больше не меняется, и я понимаю, что она тут ни при чём. Как обычно, все причины внутри, а не снаружи. Меня бьёт озноб от того, что Верочка протирала моё тело влажной губкой. Как только я это понимаю, я с криком выскакиваю из-под душа, который вот уже несколько десятков секунд обдаёт меня кипятком по моей же собственной воле. Зеркала в санитарном блоке нет, но я и без него вижу, что стал похож на варёную колбасу. Только хвост остался прежнего молочного цвета, лишь слегка потемнев от влаги. Я осторожно вытираю ошпаренную кожу полотенцем и нахожу, что особого вреда я себе не причинил. Облачаться в пижаму, которая теперь кажется такой грязной и насквозь пропахшей потом, мне не хочется, поэтому я заворачиваюсь в чёрное полотенце и возвращаюсь к кровати без больничной одежды. Сажусь на кровать, ещё раз протираю промокшим полотенцем свой некогда пушистый хвост, и устраиваюсь в надежде перебить мысли о Верочке, беспардонно протиравшей моё тело, некрологом Генриха Карловича. Но Верочка неотступно следует за мной. Поразмыслив, я понимаю, что больше всего в этой ситуации меня пугает не контакт Верочки с моим телом, а вопиющая несправедливость. Верочка Панова видела меня не только полностью обнажённым, что дано не каждой женщине. Она видела даже больше. Ей открылся мой хвост! То есть она увидела во мне (или на мне?) то, чего я сам о себе не знал. А я не видел ничего, кроме части её головы (в смысле лица), части её рук (в смысле кистей) и части её ног (в смысле лодыжек). Это несправедливо. Даёшь око за око, зуб за зуб, хвост за хвост! Хотя вряд ли у неё есть хвост или что-то такое, чего я ещё не видел у женщин. Впрочем, я не отказался бы посмотреть на её душу. Мне ещё не приходилось видеть душу убийцы. Но, боюсь, душа (даже у убийцы) не хвост, который торчит из задницы и который можно пощупать руками. Душа – предмет менее осязаемый, если она вообще существует. Мысли о душе неизбежно возвращают меня к некрологу Генриха Карловича, и я подхватываю нить его жизни, которой ещё не время обрываться.

Итак, Голова Генрих Карлович, чьё рождение, крещение и учение в школе уже внесены в анналы некролога, поступил в медицинский университет с первой попытки, несмотря на то, что его родители не имели никакого отношения к медицине. Отец его был дорожным регулировщиком, а мать – секретарём местной ячейки международной ассоциации шпагоглотателей. Как они сошлись, Генрих никогда не спрашивал. Как не спрашивал и о том, почему его назвали Генрихом Карловичем, ведь отца его звали Фомой Юрьевичем, а мать – Апполиinarieй Митрофановной. Стало быть, никаких немцев в роду Головы ни по одной линии не было. Как не было Карлов. На все вопросы о том, кто его отец, которые Генрих осмелился задать матери только уже будучи совершеннолетним, она отвечала, что его отец и есть его отец.

– Как от Фомы Юрьевича мог получиться Генрих Карлович? – спрашивал у матери Генрих Карлович.

– Самым натуральным образом, – отвечала Апполиinarieя Митрофановна, не вдаваясь, однако в подробности.

– Но отчество сына должно соответствовать имени отца, – продолжил шекотливую беседу Генрих Карлович.

– Это чистый воды формализм, – отрезала мать, – ты мой сын, и я имею право называть тебя так, как хочу.

– А отец? – спросил Генрих.

– Что отец? – не поняла сына мать.

– Как отец хотел, чтобы меня назвали?

– Какая разница чего он хотел? Он тебя не рожал, не ему и решать, как тебя называть, – отвечала Апполиinarieя Митрофановна, впрочем, безо всякой агрессии.

– Ладно, – смирился с отстранением отца от процесса своего «называния» Генрих Карлович, – а как в ЗАГСе тебе разрешили не то отчество записать?

Генрих с малолетства неоднократно заглядывал в своё свидетельство о рождении, чтобы убедиться, что отцом у него записан Фома Юрьевич Голова, а в графе «отчество» значится «Карлович». Видимых подчисток и исправлений в свидетельстве не было, что свидетельствовало о том, что оно подлинное, и в таком виде было выдано Голове Апполиinarieи Митрофановне спустя месяц после рождения её единственного отпрыска. Как советский бюрократический аппарат мог допустить превращение сына Фомы в Карловича, для Генриха оставалось загадкой.

– Что значит «не то»? – спросила мать, и Генрих понял, что дальнейшие расспросы бесполезны.

Он на всякий случай, уже будучи студентом медуниверситета, организовал экспертизу своего сыновства, и наука подтвердила слова матери: Голова Генрих Карлович является сыном Головы Фомы Юрьевича и Головы Апполиinarieи Митрофановны. Это окончательно успокоило Генриха насчёт его ближайших родственных связей и заставило смириться с отчеством, за которое его в школе (и не только) дразнили «Карлой».

Мать Генриха Карловича стала не только причиной его странного прозвания, но и повлияла на выбор профессии. Разговоров о том, куда ребёнку идти учиться, в семействе Головы не водилось. И отцу, и матери было всё равно, чем их чадо будет заниматься по жизни, лишь бы оно не мешало их собственным занятиям, но у Генриха было на этот счёт другое мнение. Занятия отца его не волновали, поскольку они увеличивали шансы отца отправиться на тот свет не больше, чем те, которыми обычно занимаются люди. А вот занятия матери Генриха беспокоили. Будучи более двадцати лет бессменным секретарём ячейки шпагоглотателей, Апполиinarieя Митрофановна желала не только влиться в столь привлекательные для неё ряды глотателей холодного оружия, но сделать это так, чтобы произвести в этих рядах настоящий переворот. Первые десять лет своего секретарства она тайно ото всех самостоятельно обучалась глотанию ножей, кортиков, мечей, шпаг и других плоских и острых предметов. Её желание стать «пер-

вой шпагоглотательницей на деревне» было так велико, что его исполнению она посвящала всё своё свободное время. Как в таких условиях мог родиться Генрих Карлович, не ясно, но он всё же появился на свет и стал единственным свидетелем мучительных попыток своей матери овладеть никому ненужным искусством. Сына Апполиария Митрофановна не стеснялась. Напротив, она использовала его в качестве зрительского тренажёра. Именно Генрих Карлович должен был не только наблюдать процесс постановки лучшего в мире номера по шпагоглотанию, но и оценивать результат с точки зрения потенциального зрителя. Как одно могло сочетаться с другим, знала только сама Апполиария Митрофановна. Через десять лет безуспешных попыток добиться фантастического результата Апполиария Митрофановна поняла, что эти годы были потрачены ею не совсем по назначению, ибо она преследовала не совсем ту цель. Настоящий переворот в излюбленной ею профессии можно было сделать, только если внести в неё что-то по-настоящему новое. Увидев однажды, как переворачивают песочные часы, Апполиария Митрофановна ясно осознала, что удивить мир профессиональных шпагоглотателей глотаемым предметом было невозможно. Его можно было удивить лишь поменяв орган глотания. И она его поменяла. Да так, что увидев подготовку к новому номеру, который должен был потрясти мир, тринадцатилетний Генрих решил стать психиатром, чтобы избавить мать от навязчивой идеи, угрожавшей её жизни. Проучившись три курса и попробовав применить некоторые рекомендуемые методики на практике, Генрих Карлович понял, что он, как и его мать, ошибся в выборе цели. Отвратить мать от не ротового глотания острых предметов с помощью слов и медикаментов оказалось невозможным. Тогда Генрих Карлович решил стать хирургом, чтобы спасти мать вне зависимости от того, чем и что она будет глотать.

На своём курсе Генрих Карлович Голова был самым прилежным студентом, что позволило ему остаться по окончании обучения на кафедре при профессоре и получить возможность не только для научных изысканий, но и для практического применения полученных навыков. Это пригодилось Генриху Карловичу потому, что чем больше было желание матери перевернуть привычные представления шпагоглотателей, тем больше была необходимость хирургического вмешательства в его последствия. Генрих Карлович зашивал свою мать бессчётное количество раз, что позволило ему хорошенько набить руку в портняжно-хирургическом деле. Он мог искусно пришить что угодно к чему угодно, и молва о нём разнеслась среди тех, кому помощь такого рода жизненно необходима. Через каких-то десять лет Генрих Карлович заменил своего профессора везде, кроме его постели, чем свёл старика в могилу. Успех у жены профессор прощал любому, а вот успех у пациентов профессор простить не смог и собственноручно отправился на тот свет, окончательно освободив дорогу своему пытливому ученику. А ученику, который уже давно понял, что сможет помочь матери, даже если она начнёт глотать шпаги пупком, хотелось покорения каких-то новых вершин. И самой высокой ему казалась нобелевская. Задумав, подобно своей матери, совершить переворот, Генрих Карлович активно занялся поисками подходящего материала. Как известно, кто ищет, тот всегда найдёт, поэтому Генрих Карлович сначала случайно нашёл моего брата-близнеца, потом случайно нашёл меня, а затем организовал случайное отрывание моей башки. После цепи этих случайностей до нобелевской премии по медицине было рукой подать. Нужно было лишь пришить мне братову голову, что Голова с успехом осуществил, запечатлев свой беспримерный хирургический подвиг на цифре. Он провернул операцию, равной которой по дерзости ещё не делал никто в мире. И это оценили в нобелевском комитете. Они не знали её истинной предыстории и решили, что Генрих Карлович достоин престижной награды за достижения в области медицины (хотя его достижения в области случайностей были куда более значительны). Но бедный мой голубчик этого пока не знал.

Очередного лауреата должны были объявить в торжественной обстановке как раз в день рождения Генриха Карловича. Он готовился к этому дню несколько лет, а за пять секунд до объявления себя лауреатом скоропостижно скончался от сердечного приступа. Он не выдер-

жал надвигающейся сбычи своей мечты. Это было бы слишком хорошо. Слишком восхитительно. Слишком волнующе. Слишком невозможно. И Генрих Карлович предпочёл будоражащую кровь неизвестность и томление в ожидании мечты её прозаической сбыче. Он был настоящим романтиком, наш голубчик Генрих Карлович. Склоним же голову и помолчим в знак скорби от расставания с прекрасным хирургом, заботливым сыном и просто хорошим человеком, Головой Генрихом Карловичем. Аминь.

День тридцать четвёртый

Просыпаюсь и понимаю, что не помню, как заснул. И не знаю, сколько проспал. Чёрт бы побрал эту больницу, в которой вместо часов на стенках висят чёрные квадраты господина Малевича. Они думают, что в этом заведении также увлекательно, как в казино? Или это часть «чёрной» терапии? От незнания того, сколько времени прошло по моим ощущениям, тоже можно захотеть свалить отсюда в пространство, в котором время чётко обозначено. Знание точного или хотя бы приблизительного времени даёт человеку мнимое, но стойкое ощущение порядка. Он знает (вернее думает, что знает), что произойдёт с ним через пять минут, через полчаса, через год, через десять лет. Вот думает человек, что он проживёт ещё как минимум лет двадцать. И спокойно занимается своими делами. Или знает человек, что его через день расстреляют. И есть у него целых двадцать четыре часа, чтобы всё вспомнить, обо всём подумать, всё осознать, во всём покаяться, помечтать о последнем желании и его исполнении. Всё идёт своим чередом, и хоть знает человек, что его жизнь скоро кончится, у него совершенно точно есть время представить, что бы он делал, если бы ему дали ещё один шанс. А чем больше думаешь, тем больше твоё личное время растягивается. И если думать хорошенько, то, глядишь, из отведённых тебе суток получается уже половинка недели, а то и месячишко, если фантазия твоя хорошо развита. А если ты знаешь, что тебя расстреляют, но не знаешь когда? Через пять минут или через три часа, или послезавтра? Как ты потратишь драгоценное время? Правильно, всё будешь думать о том, сколько тебе осталось. Не о том, о чём подобает думать человеку перед смертью (каждому, естественно, о своём), а о том, когда эта самая смерть к тебе придёт. Разве же это дело? Не дело, а сплошное мучение. Поэтому от незнания времени один только вред и никакой пользы. Но в «моей» больнице об этом не знали или делали вид, что не знают. Но, поскольку на тумбочке стоял поднос с едой (очевидно, с завтраком), я прощаю им это грубое вмешательство в человеческую психику и с удовольствием ем.

За чаем я просматриваю свежие медицинские газеты, в одну из которых, вложен сочинённый мною вчера некролог Головы. И не просто вложен, а с умыслом, потому как он прикрывает свежие некрологи, среди которых я нахожу настоящий некролог Генриха Карловича. Фамилия его, оказывается, совсем не Голова, а Почка, что сути дела, на мой вкус, не меняет. От перемены мест слагаемых, как говорится, результат не меняется, то есть налицо смерть моего голубчика-доктора. А то, что это его некролог в газете пропечатан, я нисколько не сомневаюсь, ибо к нему прилагается фотография усопшего – вылитый Генрих Карлович. Читаю подлинный некролог и думаю, что Почка, будь у него возможность выбора, безусловно предпочёл бы мой вариант. Хотя бы потому, что в нём Почка, пусть и под псевдонимом Голова, был удостоен нобелевской премии. Конечно, получить премию ему не довелось даже в моём некрологе, но это и понятно, вымысел должен быть немножко похож на правду, иначе нечего ему делать в медицинском журнале. А разве по правде Почка, даже будучи Головой, может получить нобелевскую премию? Никогда. И даже узнать о том, что она ему присуждена, Почка тоже не может. Потому как в жизни такого не бывает. Но вот если его умертвить до объявления результатов, то нобелевскую премию Почке вполне можно присудить, ведь это произойдёт после его жизни, а значит, не будет иметь к этой самой жизни никакого отношения. И можно уже не стараться быть правдивым. Можно измышлять, сколько душе угодно, не заботясь о соприкосновении твоего вымысла с действительностью. Как только заканчивается человеческая жизнь, так сразу заканчивается её правда и появляется свобода вымысла, которую, впрочем, человеческий обычай всё же ограничивает. О покойном, говорят люди, или хорошо или ничего. То ли они боятся мертвеца, который перейдя в иной мир, получает иные возможности для расправы. То ли они надеются таким образом смыть с себя то, что им бы хотелось смыть, после своей смерти. То ли они изображают уважение к окончанию земного пути. Шут его знает. Но, в любом случае,

кто считает, что получение нобелевской премии характеризует человека с негативной точки зрения, пусть первым бросит в меня камень. И приготовится к ответному броску со стороны Генриха Карловича, который никому не даст себя лишиться нобелевской премии или отозваться о ней дурно.

Мои размышления о превратностях вымысла при и после жизни объекта повествования прервала открывающаяся дверь и человек, её открывший. В палату влетает молодой парень, от которого так и разит жизнерадостностью, несмотря на мрачное, соответствующее здешним правилам, одеяние.

– Привет, – говорит парень и присаживается на стул рядом с моей кроватью, – как самочувствие?

– Привет, превосходное, – в тон отвечаю я и протягиваю ему газету некрологом Генриха Карловича вперёд, – я так понимаю, у меня поменялся лечащий врач?

– Почему? – спрашивает, просматривая некрологи коллег, юный доктор с чёрной биркой, на которой белыми буквами выведено «Лишаев Иван». Отчества отчего-то на бирке нет.

– У вас практикуют покойники? – интересуюсь я.

– Это Вы про Почку? – интересуется Лишаев, кладя газету поверх подноса.

– Про него самого, – подтверждаю я.

– Он просто уехал. На время, – делает вид, что объясняет, что случилось с Почкой, Лишаев, – открой рот и скажи «а».

Рот я открываю, но говорю совсем другое:

– Оттуда можно вернуться?

– Из Стокгольма? Конечно, возвращаются. Как насчёт «а»? – всё так же жизнерадостно спросил Лишаев.

– Что значит «Из Стокгольма»? Теперь так называют тот свет? – удивляюсь я.

Вряд ли за месяц в мире произошли такие перемены. Ответ Лишаева подтверждает ход моих мыслей, но мало что объясняет:

– Откуда такие фантазии? Стокгольм – это столица Швеции!

– Это я знаю, но Почка же умер, как он может вернуться из Стокгольма?

– Как умер? Когда? – удивляется Лишаев.

– Ты же только что его некролог прочитал, – говорю я и гадаю, на кого так подействовала чёрная обстановка, что он свихнулся, – на меня или на Лишаева, и делаю выбор в пользу Лишаева. Он дольше, чем я, пребывает среди чёрных стен. По крайней мере, в состоянии сознания.

– А, ты про это, – кивает на газету Лишаев, и лицо его делается ещё жизнерадостнее, чем обычно, – не обращай внимания.

– Это неправда? – уточняю я, поскольку на смерть врача, который буквально на днях пришёл мне чёртову тучу органов, мне как-то сложно не обращать внимания.

– Да, это неправда.

Я всегда отличался любознательностью, поэтому ответ из трёх слов меня не удовлетворил:

– И кто так шутит?

Лишаев, как и Верочка, видимо, решил изображать из себя само терпение. А может быть, медперсоналу это предписано профессиональным кодексом, который в моей прошлой жизни ни один врач не соблюдал.

– Эти некрологи Генрих Карлович сам размещает в газете раз в неделю.

И этот человек мне пришивал голову? Вот чёрт!

– Зачем?

– Говорит, что он так борется со страхом смерти.

– Оригинальная методика, – хвалю я своего хирурга, – помогает?

– Генрих Карлович утверждает, что помогает. Если видеть свою смерть регулярно, то к ней привыкаешь, а бояться того, к чему привык, человек не в состоянии. Есть ещё вопросы? – терпеливо спрашивает Лишаев, понявший, что пока я не узнаю всё, что мне нужно, он своё, то есть, моё «а» не получит.

– Он уехал на заседание нобелевского комитета?

– Куда? – сквозь терпение снова удивляется Иван.

– В Стокгольм, – объясняю я.

– Он, конечно, уехал в Швецию, но с чего ты взял, что на заседание нобелевского комитета?

– С того, что он мне голову пришил. И руку. И пальцы. И хвост. По-твоему, за это не могут дать нобелевскую премию?

– За пришитую голову, безусловно, могут. А ты с чем к нам поступил? – спрашивает Лишаев.

– Я знаю без чего я к вам поступил: без головы, без правой руки, без почки и без хвоста, разумеется, – с достоинством отвечаю я, перечисляя всё, что мне известно о моём состоянии на момент поступления в эту странную больницу.

– Ясно, – коротко отвечает Лишаев и протягивает руку к спинке кровати.

Он недолго шарит там и достаёт какие-то бумаги, которые некоторое время внимательно читает. Моего терпения хватает ненадолго.

– Что это? – спрашиваю я.

– История болезни.

– И что там написано?

– Что у тебя обычное сотрясение головного мозга.

– А что ещё? – продолжаю допытываться я.

Не мог же я пролежать в больнице с банальным сотрясением мозга больше месяца.

– Больше ничего, – отвечает Лишаев и складывает чёрные бумажные листки аккуратной стопочкой.

– А голова, почка, рука и хвост? – не верю я Лишаеву.

– С ними всё в порядке, – успокаивает меня Лишаев.

– То есть, Генрих Карлович мне их пришил хорошо?

– То есть, Генрих Карлович тебе их не пришивал.

– Тогда откуда они у меня взялись? – чем дальше, тем я больше скучаю по Генриху Карловичу, разговоры с которым мне кажутся более наполненными смыслом, чем разговоры с Лишаевым.

– Откуда и всё остальное, из материнского лона, – эти слова совершенно не шли к Лишаеву, такую старомодную фразу мог выдать скорее голубчик Почка, чем этот радостный молодец.

– Значит, это моя голова и моя рука и мне их никто и никогда не пришивал? – я показал рукой, которую вот уже тройку дней принимал за новую, и на голову, которую я тоже числил среди новичков.

– Конечно, у тебя было простое сотрясение мозга, зачем же Генриху Карловичу было менять тебе руку и голову?

– А зачем он сказал, что он мне их поменял?

– Возможно, это новая терапевтическая методика. Почка ревностно следит за новейшими научными открытиями, и я не удивлюсь, если выяснится, что он захотел стать автором одного из них.

– Это бред, а не методика, – говорю я.

– Но ты же ему поверил? – спрашивает Лишаев.

– Поверил, – отвечаю я и предпочитаю не размышлять на тему, почему я поверил чёрному голубчику.

– Вот видишь, – улыбается Лишаев, – значит, эта методика работает.

– Методика лечения сотрясения мозга? – по-моему, в этой больнице все врачи держат меня за дурака.

– Да, – не пускается в дополнительные объяснения Лишаев.

И я его понимаю, потому что объяснить, как ложь о том, что ты пришил человеку голову, может помочь этой самой голове справиться с сотрясением её содержимого, невозможно. Ну, нет такого объяснения в природе. И не может быть.

– Значит, по-твоему, хвост он мне тоже не пришивал?

– Конечно, нет! – искренне восклицает Лишаев, радуясь тому, что я начинаю нормально, с его точки зрения, соображать.

Я же понимаю, что правды о том, откуда у меня появился хвост, я в этой больнице не узнаю и решаю выяснить, как мне вернуться к той комплектации, которая у меня была по выходу из материнского ложа.

– Тогда как мне от него избавиться?

– Ничего не нужно делать специально, нужно лишь подождать, когда последствия сотрясения пройдут и твой «хвост» отвалится сам собой.

– Даже если он у меня не на голове, а на заднице? – я, конечно, понимаю, что голова и задница связаны между собой, но как эта связь может повлиять на избавления меня от моего неадекватата, я не понимаю.

– Хвост у тебя не «на заднице», и не «на голове», а «в» голове, – убеждает меня Лишаев, – функционирование твоего мозга дало сбой, когда произошло сотрясение. Но как только нормальная работоспособность мозга восстановится, все галлюцинации исчезнут сами собой.

– А хвост? – спрашиваю я.

– Что хвост?

– Он отвалится вместе с галлюцинациями или его придётся ампутировать отдельно?

– Если он тебя так беспокоит, я могу ампутировать его прямо сейчас, – соглашается Лишаев, чтобы меня успокоить.

Он разговаривает со мной, как с умалишённым, а не как с охвостованным, и это мне не нравится. Я мщу ему, показывая мой прекрасный пушистый хвост. От этого зрелища сотрясение мозга настигает самого Лишаева. Я радуюсь, как ребёнок.

– Охренеть! – говорит Лишаев словом отнюдь не терпеливого медперсонала.

– Хорош? – язвительно спрашиваю я, заглядывая себе за спину.

Лишаев деловито копошится возле моей задницы.

– Не то слово! Такого я ещё не видел! – восхищённо говорит Иван.

– И я не видел, – я солидаризируюсь с Лишаевым, прощая ему за восторг по поводу тигриного хвоста, торчащего из человеческого тела, недавнюю манеру говорить со мной как с идиотом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.